

***Сердце суесловием томимо,  
Но слова придуманы не мною...  
Отчего ты, жизнь, не пантомима?  
Почему ты не кино немое?!  
А.***

Моя опала после «дела Ковригина» продлилась недолго. В феврале 1984-го умер Андропов, так и не выйдя из комы. Его сменил на посту (чуть не написал: «на погосте») Константин Устинович Черненко, уроженец Сибири, похожий то ли на бурята, то ли на якута. Любимым писателем генсека оказался его земляк, автор бессмертной эпопеи «Вечный зов» Анатолий Иванов, тоже похожий на тучного монголоида. Более того, новый партийный лидер, несмотря на неславянский разрез глаз, к «русской партии» в отличие от Андропова относился с симпатией, и она ненадолго подняла голову, чтобы потом опустить навсегда. Иванов и Ковригин были соратниками-заединщиками, и о скандале с «Крамольными рассказами» как-то сразу все позабыли. Недавний изгой снова сидел в президиумах, посверкивая перстнем с профилем царя-мученика, катался по заграницам, ему срочно выдали какую-то премию, а «Худлит» моментально возобновил выпуск его собрания сочинений. Про мою выходку на заседании парткома вроде бы тоже никто не вспоминал, но осадочек, как говорится, остался.

Но вот в 1984-м вышло постановление ЦК КПСС о совершенствовании партийного руководства комсомолом. Какое это имело отношение к моей литературной судьбе? Самое непосредственное, ведь народ и партия едины. Подготовленное еще при Андропове постановление, как тогда выражались, вскрыло множество узких мест в деятельности ВЛКСМ. Кто знает, возможно, на мысль о необходимости такого циркуляра старших товарищей натолкнула рукопись моего «Райкома», с 1981-го кочевавшая по высоким кабинетам. Но, скорее всего, я обольщаюсь: советские руководители тоже прекрасно знали, что стране требуются реформы и перемены. Только в отличие

от последующих деятелей они ясно понимали: всякое державное новшество — это хирургическая операция на теле государства: разрезать нетрудно, чик — и готово... Потом-то что делать?

Так или иначе, по тогдашнему обычаю литературе и искусству надлежало оперативно отразить в полнокровных художественных образах имеющиеся в наличии недостатки, решительно заклеить их, не лишая, однако, общество оптимистической перспективы. Стали искать в редакционных портфелях что-нибудь об «узких местах» комсомола и ничего такого, кроме моей запретной повести, в завалах социалистического реализма не нашли. Поразмыслив, публикацию «Райкома» наконец разрешили, даже пожурили главного редактора «Юности» Андрея Деметьева за то, что он так долго «маринировал острую и своевременную вещь».

— Так вы же сами запретили! — оторопел он.

— Мы ничего не запрещаем. Вы нас с кем-то путаете. Мы не рекомендовали. Не разобрались. Бывает. Вас у нас много. А вы-то сами почему молчали, не протестовали? Вы коммунист или только взносы платите? Надо было спорить, бить в набат, доказывать!

— Я доказывал, я бил...

— Значит, плохо доказывали. Срочно печатать!

— А цензура? Там сказали: «Никогда!»

— Мы с ними поговорим.

Повесть вышла в январской книжке «Юности» 1985-го, и я проснулся знаменитым, о чем не раз уже писал, поэтому на сей раз воздержусь. Скажу лишь: моей смелости завидовали даже литераторы-невозвращенцы. Говорят, Довлатов, обитавший тогда на Брайтон-Бич, прочитав «Райком», вдрызг напился, бродил по дощатому пляжу в рваном банном халате и

повторял уныло: «Опоздал, опоздал, опоздал...» Его отчаяние понять можно: до меня в литературе и искусстве комсомол в последний раз основательно ругали аж в конце 1930-х, когда была сметена вся верхушка ВЛКСМ, а любимец молодежи генеральный секретарь ЦК Саша Косарев расстрелян. Чем этот боевой выходец из русских старообрядцев так сильно разозлил Сталина? Не тем ли, чем через десять лет его взбесили жертвы «Ленинградского дела» — Вознесенский, Кузнецов, Попков?

В 1940-м по команде сверху режиссер Столпер снял фильм «Закон жизни», где живо изобразил секретаря обкома Огнерубова — похотливого пижона и невежественного фразера. Мерзавец пил, как сукин сын, походя брюхатил комсомолок и придумывал разные дурацкие цитаты из Маркса, мороча доверчивое юношество. Фильм на экраны так и не выпустили, сообразив: от критики комсомола всего шаг до недоверия партии, а на пороге война. Между прочим, Костя Черненко, младший сверстник Косарева, прежде чем утихомириться и забронзоветь, тоже покуролесил по женской части, за что получал партийные взыскания. Но ко времени выхода в свет «Райкома» жить ему оставалось два месяца, и даже самые сексапильные кремлевские медсестрички, думаю, его уже не волновали.

Дело прошлое, но внезапная слава вскружила мне голову, а появившиеся лишние деньги позволили праздновать публикацию чуть ли не каждый день, благо желающих выпить за мой успех и счет было предостаточно. С заведующим отделом «Молодой гвардии» Ваней Шершневым и ответоргом отдела культуры ЦК ВЛКСМ Колей Старостиним мы обмывали «Райком» раз пять. Правда, многие считали меня выскочкой и конъюнктурщиком, накатавшим актуальную повестуху под постановление. Объяснять, что написана она давно и томилась в дальнем редакционном ящике, не имело смысла: никто не верил, все судили по себе. К слову, вторая моя запрещенная повесть «Дембель», пролежавшая в столе семь лет, вышла в той же «Юности» осенью 1987-го, после того, как немецкий обормот Руст посадил спортивный самолетик на Красной площади, возле храма Василия Блаженного, и Горбачев разогнал верхушку Министерства обороны, как раз собравшуюся его свергать. Всемогушая прежде военная цензура оказалась бессильной, и Дементьев поста-

вил мою повесть о дедовщине в номер. Однако завистники все равно утверждали, будто и «Дембель» я настроил за три дня, пока шли перестановки в ГЛАВПУРе. Ну не идиоты?

Вернемся, однако, в 1985-й. Я так бурно отмечал свой первый большой успех, что почти не обратил внимания на смерть Черненко. Когда сам утром помираешь с похмелья, кончина очередного кремлевского инвалида кажется историческим пустяком. Не придавал я особого значения и приходу нового генсека с кисельным пятном на лысине. Одно могу сказать прямо, от его фрикативного «Г» меня с похмелья просто тошнило, а от путаной хуторской скороговорки ломило в висках. Впрочем, я еще не понимал, что наступают новые времена и веселая советская эпоха заканчивается. В том-то и сила пьянства, что оно как бы создает вокруг тебя ту реальность, какой тебе не хватает в трезвом состоянии.

...И вот как-то утром меня снова разбудил телефонный звонок. Открыв глаза, я понял, что грешников в аду истязают безысходным и бесконечным похмельем. Изнемогая, я снял трубку, тяжелую, как пятикилограммовая гантель, и поднес ее к уху, заранее страдая от неминуемого возвращения к земным кошмарам.

— Алло, Жора! — послышался в трубке прокуроренный голос Антонины, секретарши главы Союза писателей СССР Георгия Маркова, автора отличного романа «Строговы».

— Я...

— Ноги в руки и дуй к Стефанову! Он тебя с собаками ищет.

— К кому, к кому?

— Здравствуйте! Ты откуда? Это новый завсектором литературы.

— Где?

— На звезде. В ЦК.

— Комсомола?

— Партии! В 13.30 он тебя ждет на Старой площади.

— А сколько сейчас?

— Одиннадцать сорок восемь.

— Не успею.

— Обязан. Георгий Мокеевич в курсе. Пил вчера?

— Так вы же к нам за столик в Пестром зале подсаживались.

— Точно! Жорик, надо успеть. Иначе даже не знаю, что будет... Я тебя предупредила.

Опустив чугунную трубку, я резко встал с постели, и голова закружилась так, словно мне пришлось спрыгнуть с крутящейся карусели на землю. Дождавшись, пока зеленая муть перед глазами рассеется, а мебель перестанет вращаться вокруг меня, будто кольцо астероидов, я по стенке дополз до холодильника и обрел бутылку ледяного пива. Толика алкоголя, поступившая в организм, придала мне силы, чтобы умыться, содрогаясь от мокрой воды, и побриться, страдая каждой задетой щетинкой. С трудом сообразив, где у брюк ширинка, а у сорочки пуговицы, я оделся, потом внимательно посмотрел на себя в зеркало: декадентская бледность, красные кроличьи глаза и волосы, стоящие дыбом, выдавали тайну вчерашнего загула. Но ведь Стефанов никогда меня прежде не видел. Может, я такой от природы! Главное — не дышать на него и поменьше говорить. «Молчи, скрывайся и таи...» Тютчев. Silentium. Молчание...

Перед выходом, снова ощутив слабость, я достал фляжку дагестанского коньяка, спрятанную за собранием сочинений Горького, и допил оставшиеся сто граммов. Организм благодарно ожил, и на этой заправке я доехал от Орехова-Борисова до Площади Ногина, постепенно теряя силы. На Солянке, к счастью, была пивная с автоматами — их в народе звали «мойдодырами». Помните:

Вдруг из маминой из спальни,  
Кривоногий и хромой,  
Выбегает...

Трудовая дисциплина, подтянутая суровыми андроповскими мерами, еще не разболталась, и в середине рабочего дня «точка» хоть и не пустовала, но очереди не наблюдалось, даже свободную кружку я отыскал почти сразу. Выпив и дважды повторив, я зажевал пиво мускатным орехом, глянул на часы и рванул на улицу Куйбышева.

Милиционер, выйдя из будки, внимательно посмотрел мой партбилет, задержавшись уважительным взглядом на взносах: недавно я отвалил партии 150 рублей — три процента с гонорара за «Райком», вышедший книжкой в «Московским рабочем». А ведь это — средняя месячная зарплата советского труженика!

— К кому идете? — спросил постовой, чтобы быстрее найти мой пропуск в одной из многочисленных ячеек.

— К Стефанову, в сектор литературы! — ответил я и с ужасом понял, что после пива с трудом выговариваю слова. Вместо «сектора литературы» у меня вышла какая-то нечленораздельная «стеклотура».

— Куда-куда? — насторожился милиционер, ища пропуск. — К кому?

— К Стефанову, — произнес я, а получилось: «К Сифанову».

— К Стефанову?

— Угу, — экономно кивнул я.

— Знаете, куда идти? — он с неохотой отдал мне разрешительную бумажку, найденную в ячейке.

— Ага.

— Это в новом здании.

— Угу.

— Ну идите!

Чувствуя между лопаток бдительный взгляд милиционера, я старательным шагом направился к многоэтажной стекляшке в глубине огороженной территории. На повороте меня шатнуло, и я осознал, что двигаюсь напрямик к катастрофе: явиться к партийному куратору всей советской литературы пьяным в хлам — это как в обнимку с любовницей зайти на чай к собственной жене. Удар чугунной сковородкой по голове и развод обеспечены. В зеркальном цеховском лифте аппаратная дама с прической, похожей на крендель, брезгливо шевельнула ноздрями и с удивлением глянула на меня. Увы, мускатный орех не панацея, особенно после пива, обладающего исключительно тяжелым выхлопом. Вот и теперь, спустя без малого сорок лет, я задаю себе вопрос: почему не повернул назад, почему не придумал уважительную причину неявки, вроде, внезапно умершей бабушки? Не знаю, не знаю, но, понимая, что гибну, я неотвратимо шел к цели, как лосось на гибельный нерест. Зачем?

В приемную я вступил без трех минут час. Строго-миловидная секретарша нашла мою фамилию в гроссбухе:

— Присядьте, Георгий Михайлович! Виктор Петрович скоро освободится...

— Угу.

— Может, вам чаю? — участливо спросила она.

— Ага.

— С сухариком или с сушками?

— С уш-шками... — прошелестел я губами, сухими, как крылья прошлогоднего мотылька.

— Одну минуту.

Сегодня слова «скоро освободится» или «он на подъезде» не значат ничего. Можно промучиться в передней какого-нибудь чиновного пуделя и час, и два, и три, а потом войдет длинноногая топ-помощница и сообщит: встреча отменяется, босс вызван на совещание, мы вам позвоним. И идешь ты, солнцем палимый, как некрасовский ходок, и клянeshь распутившуюся демократию, вспоминая милый сердцу тоталитаризм, точный, словно кремлевские куранты. Не успел я, дребезжа графином о стакан, налить себе воды и жадно выпить, как послышался зуммер внутреннего телефона.

— Да, Виктор Петрович, он здесь, ждет, — подтвердила секретарша, косясь на мое водохлебство, — хорошо. Заходите, Георгий Михайлович. Чай я принесу.

Я бросил в рот остатки мускатного ореха, мысленно попросил родных и близких, если не вернусь, считать меня коммунистом, встал, одернул пиджак, поправил галстук и шагнул навстречу гибели.

Кабинет был обставлен по всем законам советского присутственного места: разлапистая люстра, тяжелые темные портьеры на окнах, цветы на подоконниках, застекленные шкафы с розовыми занавесками, стулья и кресла в серых льняных чехлах. На стене висел фотопортрет нового генсека, небывало молодого. Он высоко держал голову, улыбался и напоминал солиста хора мальчиков. Конечно, как и на солнце, никакого пятна на лбу лидера не наблюдалось: ретушер поработал.

На широком казенном столе, затянутом зеленым сукном, кроме обязательного чернильного прибора и календаря-перевертыша, я заметил кое-что необычное: метровый макет подводной лодки с рубкой, похожей на акулий спинной плавник.

Из-за стола, как из засады, навстречу мне вышел крепкий краснолицый пузан с коротким седым бобрком:

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, возмутитель спокойствия! — он крепко пожал мне руку. — Присаживайтесь!

Я опустился на стул перед приставным столиком. К счастью, Стефанов не сел напротив, а продолжал ходить по кабинету, видимо, разминая ноги.

— Давно хотел спросить вас, Георгий Михайлович, как же вы решились проголосовать против ис-

ключения Ковригина? Ведь сильно же рисковали...

— Э-э-э... — я развел руками, придумывая фразу покороче, чтобы не выдать свое постыдное похмелье.

— Не скромничайте! Поступок дерзкий, но дальновидный. Не переживайте: теперь этот эпизод, как говорится, выведен за скобки. Генеральный упомянул ваш «Райком» на встрече с активом. А что будете разоблачать дальше, после комсомола? Поделитесь!

— А-а-а... — начал я, ненавидя проклятый русский язык за обилие трудно выговариваемых согласных, как, например, в слове «армия».

Секретарша принесла чай в мельхиоровых подстаканниках и блюдечко сушек с маком. Я щелкнул баранками, как кастаньетами, и захрустел, прихлебывая чай, который в высоких кабинетах всегда подавали почему-то еле теплым.

— Значит, все-таки армию? — значительно улыбнулся Стефанов. — Знаю, читал ваш «Дембель». Показывали по секрету. Немного ерничаете, но по сути все правильно. Неуставные отношения разъедают дисциплину и снижают боеготовность. Думаю, скоро напечатают. Гласность снимает многие проблемы.

— Что? — спросил я, поглощая сушки.

— Гласность! Это слово скоро узнают все. Времена меняются! — он с надеждой посмотрел на портрет бодрого генсека, в котором тогда даже Нострадамус не угадал бы будущего могильщика СССР.

— А что вы думаете вообще о современной литературе?

— Хм-м, — я попытался дожевать сушку, чтобы, наконец, хоть что-то сказать.

— Разделяю ваш пессимизм! Мне кажется, наши коллеги не осознали, что эпоха брюзжания и мелочного бытовизма кончилась. Нужен прорыв, новое мышление. Хотите экспериментировать — пожалуйста! Но не забывайте: пробирка — это не домна. Всю жизнь нельзя сидеть в реторте! Согласны?

— Угу...

— Ну, а в чернильнице у вас теперь что, если не секрет? — спросил, глянув на часы.

— Повесть... о школе... — доложил я, как бы невзначай прикрыв рот рукой.

— Как называется?

— «Звонок на перемену». Я хотел...

— В яблочко! — перебил Стефанов. — Да вы про-

сто молодчага! Это то, что нужно. Связь поколений. Готовность к обновлению. Новое мышление. А я, знаете ли, заканчиваю роман о моряках-ракетчиках. Сам служил когда-то в Североморске. Действие происходит на атомной подводной лодке во время «автономки». Вроде, получается... Но есть одна проблема. Даже две. Знаете, Георгий, очень трудно бытовую речь героев перевести на литературный язык. Много ненормативной лексики. Но я стараюсь. А вот вторая проблема посложней. Не могу написать отрицательного героя. С одной стороны, какой роман без негодяя, верно?

Я с пониманием хрустнул сушкой, а он продолжил с азартом, не свойственным аппаратчикам:

— Мы же давно преодолели бесконфликтность. А с другой стороны, какой негодяй на подлодке, несущей стратегические ракеты «вода-воздух-земля». Одна ошибка — и вместо Калифорнии лунный кратер. Представляете? С ядерной энергией шутить опасно.

— Угу, — я сочувственно хлебнул чая, конечно, не догадываясь, что до Чернобыля оставалось всего несколько месяцев.

— Вижу, вам понравились наши сушки. Заходите еще — угощу!

Я понял, что аудиенция закончилась, встал, и Стефанов крепко пожал мне руку. В приемной уже томился следующий посетитель — главный редактор толстого журнала «Новая заря», похожий на испуганного зубного техника, которого вызвали для отчета о расходе драгметаллов на изготовление вставных челюстей. С изумлением увидев меня в столь высокой приемной, он голосом, сладким, как вареная сгущенка, упрекнул:

— Что-то вы, Георгий, давно к нам не заглядывали!

— Зайду! — пообещал я и протянул пропуск секретарше, чтобы получить отметку о посещении.

...Я вышел на солнце и почувствовал такое непреодолимое желание выпить, что ноги сами понесли меня в шашлычную на Маросейке, рядом с ЦК ВЛКСМ. Там, несмотря на неурочный час, уже бражничали Ваня Шершнев и Коля Старостин. Они пили водку и так громко ругали евреев, словно хотели докричаться до Тель-Авива.

— Жора, а ты случайно не еврей? — подозрительно спросил меня Ваня, прежде чем налить водки.

— Случайно нет.

...Утром меня снова разбудил звонок Антонины.

— Жор, ты, что ли? А чего такой голос хриплый?

Опять вчера нажрался?

— Немножко.

— Ну и правильно. Есть повод! Поздравляю!

— С чем?

— Ты очень понравился Стефанову!

— А вы откуда знаете?

— Стефанов позвонил Маркову, я их соединила.

Понял? В общем, Виктор Петрович сказал Мокеичу: «Есть же у нас нормальные молодые писатели, которые умеют слушать. С Евтушенко же ведь просто говорить невозможно, ты ему слово, он тебе десять. А Полуяков — отличный парень. Вежливый, внимательный». Решили тебя, Жора, выдвигать. Готовься и сбавь обороты!

Вскоре меня избрали секретарем Московской писательской организации, потом секретарем Союза писателей РСФСР, а затем — членом правления Союза писателей СССР. Чтобы современному читателю был понятен мой «вертикальный взлет», как удачно пошутил Макетсон, представьте себе, что вы стали членом советов директоров Внешэкономбанка и Газпрома, а также членом правления Роснефти. Вообразили? То-то!

Роман Стефанова «Громометатели» вышел в «Новой заре» через год. Льстивые критики опус большого начальника дежурно похвалили и вскоре забыли навсегда: на фоне перестроечных новинок, вроде «Детей Арбата» или «Нового назначения», роман выглядел бледно. Лихую матершину мореманов автор кое-как перевел на общелитературный язык, а вот отрицательного героя так и не нашел на подводной лодке. Вскоре Виктор Петрович скоропостижно умер, кажется, от инсульта, прямо на своем рабочем месте. Увы, служба в ЦК КПСС, как и в Администрации президента, не для ранимых творческих натур. Предателей, карьеристов и начальников-самодуров в коридорах власти во все времена найти куда проще, чем негодяя на борту самой отвязанной субмарины.

Но не будем о грустном! Silentium...

■ Переделкино, 2019 г.